

ПОСЛѢДНІЯ НОВОСТИ

СУББОТА, 7 ЯНВАРЯ 1939
SAMEDI, 7 JANVIER 1939

НОМЕРЪ
ВО ФРАНЦИИ **80** сент.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ П. Н. МИЛЮКОВА
Quotidien Russe "LES DERNIERES NOUVELLES" Directeur P.N. MILIOUKOV

LE NUMERO
EN FRANCE **80** cent.

СУББОТА, 7 ЯНВАРЯ 1939
SAMEDI, 7 JANVIER 1939

№ 6494

20^e
ANNEE

7

ABONNEMENT AUX «DERNIERES NOUVELLES»

(Partant du 1er et 16 de chaque mois)

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА „ПОСЛѢДНІЯ НОВОСТИ“
(съ 1-го и 16-го каждого мѣсяца)

1 мѣс. 3 мѣс. 6 мѣс. 1 годъ

Во Франціи . . . France	19	54	103	200
За-границей . . . Etranger	36	100	190	365
Перемѣна адреса - 1 фр.	— Changement d'adresse — 1 fr.			

Подписка принимается въ Конторѣ газетъ
и въ ея отдѣленіяхъ, а также во всѣхъ почт.
отдѣленіяхъ.
Цѣна № въ Парижѣ и провинціи — 80 сент.
За-границей — 1 фр. 50 сент.
Пріемъ объявленій въ Конторѣ газетъ

ADRESSE DE LA REDACTION

51, Rue de Turbigo, 51 — Paris III.

Адресъ Конторы и Редакціи

On s'abonne aux Bureaux du Journal
et dans tous les Bureaux de Poste
Le numéro: Paris et Départements - 80 c.
Etranger — 1 fr. 50 cent.
Annonces: aux Bureaux du Journal

ET DE L'ADMINISTRATION

(Métro: Arts et Métiers)

Телефонъ редакціи . . . TURBIGO 81-82
конторы . . . ARCHIVES 85-00
отд. объявленій . . . TURBIGO 51-20, 51-21
Ночной телефонъ редакціи (послѣ 9 час. вечера):
PROVENCE 78-17

Телеграфный адресъ Adresse télégraphique
DERNOUVED PARIS 03

№ 6494

20-й ГОДЪ
ИЗДАНІЯ

7

О Чеховѣ

Ю. Сазонова

Чеховъ до сихъ поръ остается въ русской литературѣ мitsuющей душой, не занявшей определенной полочки и классическаго ореола не получившей: онъ какъ бы въ периодъ становления, и кажется живымъ писателемъ, до конца еще не высказавшимся. Поэтому, каждое появленіе новыхъ писемъ Чехова, каждая новая постановка его нисемъ особенно волнуетъ, поднимая вопросы, связанные съ сущностью чеховскаго творчества. Самое положеніе чеховской звѣзды среди другихъ свѣтилъ до сихъ поръ для всѣхъ точно не определено.

Чеховъ не причислялъ себя къ великой русской литературѣ. Себя и своихъ сверстниковъ онъ горестно противопоставлялъ ей. «Писатели, которыхъ мы называемъ великими или просто хорошими, — писали онъ Суворину, — имѣютъ одинъ общій и весьма важный признакъ: они куда-то идутъ и вѣсь вонутъ туда же, и мы чувствуемъ, что у нихъ есть какая-то цѣль, какъ у тѣни отца Гамлета, которая не даромъ приходитъ и тревожитъ воображеніе. Лучшие изъ нихъ реальны, и пишутъ жизнь такую, какая она есть, но оттого, что каждая строчка пропитана, какъ сокомъ, сознаниемъ цѣли, вы, кроме жизни, какая она есть, чувствуете еще ту жизнь, которая должна быть, и это пѣвучесть нисемъ. А мы? Мы пишемъ жизнь такую, какая она есть, а дальше ни тире, ни ну... Дальше хоть плотью насъ стегайте. У насъ нѣтъ ни ближайшихъ, ни отдаленныхъ цѣлей, я въ нашей душѣ хоть шаромъ покати».

Въ сущности, это — наиболее точное определеніе настоящей литературы, и литературы «случайной», которая «ни тире, ни ну». Чеховъ не върывалъ въ себя, не върывалъ въ подлинность своего признанія, и это было отравой его жизни, источникомъ его мучительной впечатлительности. Онъ готовъ былъ утверждать, что «медицина — моя законная жена, а литература — любовница», и въ своемъ творчествѣ придавалъ громадное значеніе своему врачебному опыту: «Хорошо быть врачомъ, и писать о томъ, что понимаешь», говорить онъ по поводу «Именина». «Занятія медициной обогащаютъ меня знаніями, истинную цѣль ко-

торыхъ, можетъ понять только тотъ, кто тамъ врачъ».

Къ своей «законной женѣ»-медицинѣ онъ относился благоговѣнно, врачи у него всегда окружены ореоломъ. Достаточно вспомнить Астрова или героя «Скудной исторіи». Врачи служатъ истинѣ, которую можно «искать только тамъ, гдѣ пригодны микроскопы, зонды, ножи». Чеховъ «старался, гдѣ было возможно, сообразаться съ научными данными, а гдѣ невозможно — предпочиталъ не писать вовсе. Къ балетристамъ, относящимся къ наукамъ отрицательно, и не принадлежу, и къ тѣмъ, которые до всего доходятъ своимъ умомъ, не хотѣлъ бы принадлежать». Спасаясь отъ сомнѣній въ «любовницѣ», онъ ищетъ, такимъ образомъ, опоры въ «законной женѣ», помогающей скальпелемъ и зондомъ найти точную истину, и знаящей, что «испихическія явленія поразительно похожи на физическія»: «не разбираюсь, гдѣ начинаются нервы и кончаются вторыми». Для себя, для успокоенія своей томительной неуверенности, Чеховъ находилъ оправданіе именно въ этомъ некакой точной истинѣ: «Я составляю материалы, хорошиіи или дурной, все равно», и «для людей, посвятившихъ себя изученію жизни, я такъ же нуженъ какъ для астронома звѣзда».

Терзаніе о цѣли и смыслѣ своего творчества постоянно возвращается въ нисемъ Чехова: «Для кого и для чего я пишу? — пишетъ онъ Суворину. Для публики? Но я ее не вижу, и вѣрю въ нее меньше, чѣмъ въ домового: она необразована, дурно воспитана, и ее лучшіе элементы недобросовѣстны и не искренни по отношенію къ намъ». Его личная писательская тоска отражена въ монолוגѣ Тригорина, который жалуется на «затравленность»: «Ловлю себя и васъ на каждой фразѣ, на каждомъ словѣ, и слышу скорбѣ запереть всѣ эти фразы и слова въ свою литературную кладовую: ахъ, пригодится». У Чехова, какъ известно, была такая записная книжечка, куда онъ заносилъ «каждое слово», «каждую фразу», интересное сравненіе, яли иногда просто забавную фамилію.

Чеховъ готовъ былъ считать, — какъ говоритъ о томъ въ нисемѣ къ Щеглову, — что «знаніе насъ будитъ, какъ артель восьмидесятниковъ», и свое личное значеніе определялъ лишь тѣмъ, что пробилъ этой артелью дорогу въ толстые журналы.

Отвергая тригоринскую литературу («о, что за дикая жизнь!»), онъ и во второй, новой своей литературной личности, отраженной въ Треплевѣ, не находилъ утѣшенія. Тамъ тоже кажется ему «хоть шаромъ покати» и, когда умираетъ Треплевъ, то это «лопнула склянка съ эфиромъ», и только.

Основная мука Чехова, — его несконечная мука творчества, смысла жизни, — составили ту «цѣль», ту «душю», о которой онъ неустанно томился. Печальное собственное цѣлостное придало особое цѣлостное дріе его художественной личности, особую стыдливую прелесть, которая обезпечила ему вѣчную юность. До сихъ поръ Чеховъ не «устоялся», не определился, до сихъ поръ мы ищемъ въ немъ нового.

Признаніе общее было дано Чехову при жизни, но самъ онъ себя не признавалъ до конца. Причислилъ себя лишь къ «артели восьмидесятниковъ», онъ считалъ себя художественнымъ репортеромъ: «Писатель — тотъ же корреспондентъ». Онъ утѣшаетъ себя въ тяжелыя минуты сомнѣній: «Дѣлаю, что могу, а если человѣчеству не угодна наша служба, то ну его къ лху». Онъ не позволялъ себѣ выйти изъ рамокъ этой «службы», пока къ тому не понуждаютъ обстоятельства. Периоды чеховскаго творчества определяются въ известной мѣрѣ, различными причинами: въ периодъ сотрудничества Чехова въ «Осколкахъ» Лейкинъ онъ ничего не пишетъ для себя, въ запасъ, и не выходитъ изъ круга комическихъ темъ. Приглашеніе Суворина заставляетъ его врасплохъ, и онъ только тогда начинаетъ писать серьезные рассказы. Когда ему удается «пробить» путь отъ маленькихъ журнальчиковъ къ толстымъ журналамъ, онъ вступаетъ въ послѣдній, самый для него творчески трудный, периодъ большихъ побѣдъ. Въ драмѣ онъ пишетъ, сначала имѣя въ виду Александринскій театр, и продолжая начатый Тургеневымъ путь «внутрен-

нихъ драмъ»; только окончательно соединившись съ Художественнымъ театромъ, отходитъ отъ первыхъ своихъ драматическихъ вещей. Въ этомъ пути, какъ будто определяемомъ вѣчными вѣтрами, Чеховъ, конечно, оставался внутренне независимымъ. Вѣбныхъ воздѣйствій онъ не испытывалъ; не испытывалъ и вліянія русскихъ классиковъ: о нихъ его сужденія почти всегда отрицательны.

О Толстомъ онъ говоритъ по поводу «Воскресенія»: «Писать, писать, а потомъ взять и скалить все на текстъ изъ Евангелія, это ужъ очень по-богословски»; «рѣшать все текстомъ изъ Евангелія такъ же произвольно, какъ дѣлать арестантовъ на пять разрядовъ: почему пять, а не десять? Надо сначала заставить увѣровать въ Евангеліе, а потомъ ужъ рѣшать все текстами». О религиозно-нравственныхъ воззрѣніяхъ Толстого, по поводу «Что такое искусство?», онъ отзывался: «Всегда старики склонны были видѣть конецъ міра, говорили, что нравственность пала, до пещи plus ultra, что искусство измѣлчало, иносказательно, что люди измѣлчали и прочъ». Достоевскаго Чеховъ читаетъ въ 1889 году, и пишетъ Суворину: «Купилъ я въ нашемъ магазинѣ Достоевскаго, и теперь читаю. Хорошо, но очень ужъ длинно и нескромно. Много претензій». Перечитывая «Обломова», онъ дѣлится впечатлѣніями съ Суворинымъ: «Читаю Гончарова, и удивляюсь. Удивляюсь себѣ: за что я до сихъ поръ считалъ Гончарова первокласснымъ писателемъ? Его Обломовъ — совсѣмъ не важная штука. Самъ Илья Ильичъ утрированная фигура, не такъ ужъ крупный, чтобы изъ-за него стоило писать цѣлую книгу... И спрашиваю себя: если бы Обломовъ не былъ дѣйствующимъ, то чѣмъ бы онъ былъ? И отвѣчаю: ничѣмъ. А если такъ, то пусть себѣ дрыхнетъ», этого «оброзлага дѣйствія» «сводило въ общественный типъ — дань не по чину». О Грибоѣдовѣ Чеховъ пишетъ Суворину: «Софья въ «Горѣ отъ ума» такъ же похожа на Татьяну, какъ курица на орла. Софья написана дурно: это даже не лицо, а такъ, персонажижъ въ вилторо-красномъ вкусѣ». Но о своихъ соратникахъ Чеховъ всегда отзывался съ большой деликатностью, даже тогда, когда готовъ осуждать себя вѣбѣтъ съ ними: «Въ нашихъ талантахъ много фосфора, но мало желѣза. Мы, пожалуй, красивые птицы, и поемъ хорошо, но мы не орлы», пишетъ онъ Ивану Щеглову. Тоска по орлиному полету, который онъ считалъ для себя недоступнымъ, жажда полнаго внутренняго освобожденія, окрашивали всю его творческую жизнь, определяли его пути.

Мучительно стремился къ «абсолютной свободѣ» отъ силъ и лжи, въ чемъ бы дѣлѣ послѣдній ни выражался, Чеховъ жалуется Суворину, что «въ дѣтствѣ много разъ събѣбный», до сихъ поръ «не могъ вытравить изъ себя раба». Трудности дѣтскихъ впечатлѣній, несмотря на всю свою любовь къ семьѣ, онъ не забываетъ, и въ чеховскомъ мірѣ дѣти несчастны, и дѣтство представляется «мрачнымъ». Искренность Чехова заставляла его вѣрить только тому, изображать только то, что самъ онъ носилъ въ себѣ. Чуждое его собственному міру онъ не изображалъ никогда, и эта непримлемость всего чуждаго придаетъ чеховскому творчеству его цѣлостность и покоряющую его силу.

Сдержанность, внутренняя душевная стыдливость Чехова сказывается въ отношеніи къ своей болѣзни: онъ боленъ съ юности, не можетъ, какъ врачъ, не признавать опасности, и никогда ни словомъ о ней не упоминаетъ. Только разъ, въ «Черномъ монахѣ», онъ передаетъ свое ощущеніе при кровохарканіи, и мысли о смерти.

Стыдливость заставляетъ его брать въ нисемъ особый, условно комическій тонъ, какъ будто цѣль лишь въ томъ, чтобы позабавить корреспондента. Онъ не можетъ пожаловаться на странную тоску одиночества въ Итѣ, на мысли о болѣзни, на обострившуюся тревогу о цѣли и смыслѣ кончающейся жизни; и онъ пишетъ женѣ непримлемыми, будто насильственная улыбка на измученномъ лицѣ, нисемъ съ «мерзехлюдицей» и «актрисой», не позволяя до самаго конца вырваться ни единому воплю, ни единому живому призыву, который могъ бы нарушить безмолвность ея ариетической работы. Мучительны нисемъ, «семейны» обреченнаго на смерть человѣка, — одно изъ самыхъ трогательныхъ проявленій чеховскаго душевнаго цѣлостнаго. Онъ остроитъ до конца, онъ даже передъ смертью пишетъ «ланития» нисемъ, и своей болѣзнью, своей смертью никому не хочетъ «помѣшать». Чтеніе этихъ нисемъ, мануальныхъ его семьей вскорѣ послѣ его смерти, и теперь дополненныхъ нисемъ къ женѣ, способно вызвать почти недоумѣніе: да какъ же могъ онъ такъ писать, какъ могъ онъ такъ «интересоваться», почти «пошлостью», остроить? Напряженная мучительность создаетъ болѣзненное впечатлѣніе.

Даже въ юности, въ нисемъ къ брату, онъ держалъ тотъ же упорно шутливый тонъ, не позволяя себѣ ни одного «сентиментальнаго» проявленія, повторяя однообразнымъ приѣвомъ, въ случаѣ какой-либо просьбы: «подати штанги и бѣги». Съ обманчивой серьезностью, онъ сообщалъ

брату свѣдѣнія о жизни въ провинціальномъ городкѣ, приводя цѣлы не только прачки и парикмахера, но и продажную любовь: для автора «Приписка» такая «безнравственность» казалась бы дикой, если бы это не было обычной въ чеховскихъ нисемъ формой сокрытія своихъ подлинныхъ ощущеній. Печатаніе переноски особенно опасно для вѣрнаго пониманія, ибо, по существу, нисемъ — «шифрованы»: настолько Чеховъ боялся проявлять себя, прикрывая искусственной шуткой всѣ свои живыя чувства. Во время первой заграничной поѣздки съ Суворинымъ, Чеховъ не можетъ выйти изъ этой привычки сдерживаться: въ нисемъ къ роднымъ, онъ, вмѣсто искреннихъ впечатлѣній, приводитъ приблизительныя «цѣлы» художественныхъ сокровищъ Венеціи, или говоритъ о «цѣлыхъ полосахъ» замѣчательной архитектуры въ Вѣнѣ; но не упоминаетъ ни о тоскѣ по дому, ни о настоящемъ своемъ чувствѣ при первомъ столкновеніи съ европейскимъ міромъ. Когда разнеслись обидѣнные его слухи, будто европейской культуры онъ не принял, онъ не могъ нарушить обычной своей манеры, и въ нисемъ къ Суворину выражаетъ свое раздраженіе шуткой: «Надо быть близко, чтобы прѣхавъ въ первый разъ въ Венецію или Флоренцію, начать отклоняться отъ Запада». И онъ сердится: «Желательно было бы знать, кто это старается, кто оповѣстилъ всю вселенную о томъ, что, будто, за-граница мы не поправились? Господи ты Боже мой, никому и ни одному словомъ не заикнулся объ этомъ! Мы даже Болонья поправились. Идей я не вывезъ, что ли? Но и идеи, кажется, вывезъ». Домой онъ пишетъ: «Видѣлъ я все и лапалъ голову, куда приказывали. Давали нюхать — нюхалъ», но отъ всего этого «чувствовалъ только утомленіе и желаніе поѣхать съ трещиной каменей». Въ такой шутливой формѣ онъ сообщалъ семьѣ о своей тоскѣ по дому. Но съ сердцемъ корилъ потомъ Суворина за распространеніе слуховъ, будто онъ разлегся на площади св. Марка и требовалъ щей.

Таинность чеховскихъ нисемъ многократно раскрывается въ немъ, но теперь шутка его вызываетъ болѣзненное сочувствіе къ грядущей его въ тишинѣ печали. «Веселія» нисемъ онъ считалъ для себя такими же обязательными, какъ оптимизмъ въ своихъ самыхъ горестныхъ творческихъ, какъ «небо въ алмазахъ», которое онъ считалъ себя обязаннымъ обѣщать даже тогда, когда самъ изнемогалъ отъ тоски, отъ отчаянія, отъ одиночскихъ исканій того, что признавалъ единственной истиной.

Ю. Сазонова